

## ПРОЛОГ

При жизни никто не видел ее обнаженной. Согласно правилам ордена сестрам не подобало взирать на человеческую плоть — ни на собственную, ни на чужую. В уставе подробно оговаривалось, как себя вести, чтобы не нарушать этот запрет. Под колышущимися складками ряс монахини носили длинные холщовые рубашки, и эта нижняя одежда оставалась на них всегда, даже когда они мылись, служа, таким образом, ширмой и отчасти полотенцем, а также ночной сорочкой. Эту сорочку монахини меняли раз в месяц (летом, когда в душном тосканском воздухе тела обливаются потом, — чаще), и на сей счет существовали тщательно разработанные предписания: разоблачаясь, они не должны были сводить глаз с распятия, висящего над кроватью. Если кто-нибудь, забывшись, позволял взгляду опуститься на собственное тело, то подобный грех становился достоянием исповедальни, но отнюдь не истории. Ходили слухи, что когда сестра Лукреция только вступила в монастырские стены, она отличалась не только благочестием, но и некоторой суетностью: так, поговаривали, что среди ее приношений церкви был пышно изукрашенный свадебный сундук, полный книг и рисунков, которые очень бы заинтересовали Стражу Нравов. Но в ту давнюю пору многие сестры были склонны к излишествам и даже роскоши; это уже после реформирования монастыря правила ужесточились. Ни одна из нынешних его обитательниц уже

не помнила тех времен, кроме достопочтенной матушки настоятельницы, которая стала невестой Христовой в ту же пору, что и Лукреция, но давно уже отвратилась от всяких мирских соблазнов.

Что до самой сестры Лукреции, то она никогда не вспоминала вслух о своем прошлом. А в последние годы и вовсе почти не разговаривала. В благочестии ее сомневаться не приходилось. А когда ее стан согнулся, а суставы одеревенели от старости, то благочестие ее украсилось еще и скромностью. Что, пожалуй, естественно. Даже если бы она прельстилась суетой, где бы она увидела свое отражение? Ныне в монастырских стенах нет ни единого зеркала, окна лишены стекол, и даже посреди рыбного садка устроен фонтан, который разбрызгивает вокруг себя бесконечный ливень капель, никому не давая полюбоваться собственным отражением. Разумеется, внутри даже самого праведного ордена неизбежны небольшие прегрешения, и случалось иной раз такое, что кое-кого из послушниц посмекалистее заставляли за тем, что они разглядывали себя украдкой в зрачках наставниц. Но изображения эти по большей части вскоре тускнели — по мере того, как все ближе и отчетливее предстал перед теми и другими лик Господень.

Сестра Лукреция, похоже, уже несколько лет ни на кого не поднимала взгляда. Напротив, она все больше времени проводила в молитвах в своей келье, и глаза ее затуманивали старость и любовь к Богу. Недуг ее усугублялся, и, освобожденную от тяжелых послушаний, ее можно было застать в садах или на огороде, где она выращивала лекарственные травы. За неделю до смерти ее заметила там молодая послушница, сестра Кармила, которая очень встревожилась, увидев, что престарелая

монахиня не сидит на скамье, а лежит, вытянувшись, на голой земле. Опухоль выпирала из-под одеяния, плат был сорван с головы, а лицо подставлено лучам предвечернего солнца. Подобное считалось вопиющим нарушением монастырских правил, но в ту пору недуг уже так глубоко укоренился в теле сестры Лукреции и страдания ее стали столь очевидны, что достопочтенная мать настоятельница не нашла в себе сил укорить бедняжку. Позже, когда настоятельница удалась, а сестру Лукрецию унесли, Кармила принялась сплетничать громким шепотом, эхом разносившимся по трапезной: мол, непослушные волосы монахини, высвободившиеся из-под плата, серебряным нимбом сияли вокруг ее головы, а лицо озаряло счастье; вот только улыбка, игравшая у нее на губах, была скорее торжествующей, нежели умиротворенной.

В последнюю неделю, когда боль захлестывала сестру все более мощными волнами, стремясь увлечь за собой, в коридоре возле ее кельи запахло смертью, он наполнился зловонием плоти, словно разлагавшейся заживо. Опухоль к тому времени так разрослась, что не давала сестре сидеть. Приводили церковных врачей, пригласили даже одного доктора из Флоренции (обнажать тело дозволялось, если это могло помочь уменьшить страдания), но она отказалась их видеть и никому не разрешила облегчить свои муки.

Опухоль по-прежнему была скрыта от глаз. Стояло лето, и в ту пору монастырь будто варился в кипятке днем и изнывал от зноя ночью, но сестра Лукреция по-прежнему лежала под одеялом в полном облачении. Никто не знал, как давно недуг разъедал ее плоть. Монашеские одеяния нарочно кроились так, чтобы под ними совершенно невозможно было угадать изгибы

и выпуклости женского тела. Пятью годами ранее, к величайшему поношению, какое только выпадало монастырю со времен прежних беспутных дней, четырнадцатилетняя послушница из Сиены скрывала все девять месяцев тягости так успешно, что ее раскусили, лишь когда сестра кухарка наткнулась на остатки последа в углу винного погреба и, испугавшись, уж не внутренности ли это какого-нибудь полусожранного животного, стала обыскивать помещение, пока не обнаружила на дне бочки с вином для причастия крошечное распухшее тельце, придавленное мешком муки. Самой юницы и след простыл.

Месяцем ранее, после своего первого обморока на заутрене, сестра Лукреция призналась, что некоторое время назад в ее левой груди поселилась опухоль, которая, словно маленький вулкан, извергается болью, отдающейся в теле мучительными толчками. Но с самого начала она твердо заявила, что никакого вмешательства не требуется. После беседы с матушкой настоятельницей, из-за которой та опоздала на вечерню, этой темы они более не касались. В конце концов, смерть есть лишь веха на долгом пути, и в доме Божиим ее ждут не со страхом, а с надеждой.

В последние часы сестра обезумела от боли и жара. Сильнейшие травяные отвары не приносили ей ни малейшего облегчения. Если прежде она сносила страдания со стойкостью, то теперь ревела всю ночь, будто зверь, и от этого отчаянного воя в страхе пробуждались молодые монахини в соседних кельях. Сквозь вой иногда прорывались слова — то стремительным стаккато, то глухим шепотом, будто строки какой-то яростной молитвы; латынь, греческий и тосканское наречие сливались в единый и неразделимый поток.

И вот однажды утром, на заре очередного нестерпимо знойного дня, Господь наконец прибрал ее. Священник, причастив ее святых тайн, ушел. С умирающей осталась одна из сестер-сиделок, которая потом рассказывала, что в миг, когда душа отлетела от тела Лукреции, лицо ее чудесным образом преобразилось, морщины, прорезанные болью, исчезли, кожа сделалась совсем гладкой и почти прозрачной — и вдруг показалась тень той нежной молодой монашенки, которая впервые вошла в монастырские ворота тридцать лет назад.

О смерти было объявлено на заутрене. Из-за жары (зной в последние дни стоял такой, что сливочное масло на кухне растекалось лужей) сочли за благо предать тело земле в тот же день. Монастырский обычай предписывал, чтобы каждая почившая сестра покидала грешную землю не только с незапятнанной душой, но и с чистым телом, к тому же облаченным в сверкающую белизной новую одежду — свадебное платье для невесты, соединившейся со своим Небесным Женихом. Обряжала усопших сестра Магдалина, ведавшая аптекой и раздачей снадобий (ей было дано особое позволение видеть обнаженное тело в таких скорбно-торжественных случаях); помогала ей монахиня помоложе, сестра Мария, которой со временем предстояло взять на себя это послушание. Они вместе обмывали и облачали тело, а затем помещали в часовню, где ему предстояло пролежать еще день, дабы остальные монахини, приходя туда, могли воздать покойной последнюю дань.

Однако на сей раз труды сестер не понадобились. Как выяснилось, сестра Лукреция перед смертью сделала особое распоряжение, попросив не прикасаться к ее телу и похоронить ее в той самой одежде, в которой она все эти годы служила Господу. Просьба такая была, мягко